

1

— Просто имей в виду, что ты всегда можешь вернуться домой.

Вот оно и случилось. Я ожидала, что мать точно произнесет эти слова, заранее ненавидя этот момент. За два года до ее звонка я переехала в Бруклин из Индианы и поселилась во Флэтбуше со своим бойфрендом Келли. Наши оставшиеся на Среднем Западе друзья строили дома с четырьмя спальнями на площади в один акр под ипотеку, сравнимую с ежемесячной арендой нашей односпальной квартиры. Прожив в городе год-другой, я стала восхищаться всем тем, что раньше считала обычным для любого дома. Посудомоечными машинами, стиральными машинами со встроенными сушилками, задним двором. В нашей квартире из всего перечисленного была только посудомойка, при работе которой на второй стадии цикла с глухим грохотом сотрясались

полы и стены. Расхаживая по полу, я ощущала ногами вибрацию.

Чтобы ответить на звонок матери, я встала из-за стола во время ужина. Она до сих пор жила в Форт-Уэйне, моем родном городе. Я же с тех пор, как окончила колледж одиннадцать лет назад, не раз меняла не только дом, но и город. Она звонила раз в несколько недель — я отвечала примерно на один из двух звонков, — и мы обычно мило болтали минут десять-пятнадцать. Я научилась поддерживать легкую беседу — по крайней мере, я убеждала себя в этом, — стараясь ничего не усложнять и не врать. Мне не хотелось врать ей. Мне хотелось разговаривать с матерью так же, как я разговаривала с большинством других людей и с самой собой. Но она была не просто «какой-то человек», а моя мать, так что задача выглядела невыполнимой. Существовали определенные границы. Мы касались только тех тем, обсуждение которых не закончилось бы спорами, то есть таких, которые по большей части заставляли нас обеих смеяться.

Когда она произнесла фразу о том, что я всегда могу вернуться домой, какая-то часть меня захотела в ответ закричать: «Мама, я люблю тебя, но скорее вылезу из кожи вон и стану драться с каждым встречным на улице, чем

мы снова будем жить под одной крышей». Этот красочный образ отражал мои чувства, которые я не осмеливалась выразить вслух из страха нарушить спокойный ход беседы. Перевести все в шутку я не могла, потому что в какой-то степени и вовсе не шутила. Я сердилась на себя за такие мысли, поскольку понимала: ей будет больно узнать, что я всегда так думала. Заодно я сердилась на себя и за то, что не осмелилась высказать это вслух. За то, что заботилась о ее чувствах, боясь сказать правду.

До ее звонка мы с Келли ужинали. Мы были живущими вместе любовниками, пытающимися понять, обладаем ли мы способностью превратиться из любящих друг друга людей в семью, которой мы хотели стать. Мы всячески украшали наше жилище, наше Гнездышко, как мы любовно называли это тесное, но милое пространство. Развешивали дешевые плакаты в рамках на стенах, расставляли по полкам статуэтки и небольшие чучела животных. Строили своего рода баррикаду между нашими мягкими внутренними «я» и жесткой городской средой. Мы не то чтобы не могли снести удары этой среды — просто не привыкли к ее ритму, но все еще надеялись каким-то образом приспособиться к ней. Каж-

дый день мы возвращались домой, к *нам* домой, и я ощущала защитную силу стен, окружавших пространство нашей общей любви.

У нас была небольшая кухонька, в которой я хотела готовить для кого угодно, хотя в большинстве случаев этим кем-то оказывался Келли. Мне еще многому предстояло научиться, но, как ни странно, таланты во мне все же обнаружились. Готовка была одним из способов успокоиться, собраться с мыслями и одним из вариантов, который мне предложил психотерапевт. «Постарайтесь уделять время приготовлению вкусных блюд, от которых вам станет лучше на душе. Разве кто-то сделает это лучше вас самой?» Совет был как раз того рода, какой дают за деньги. Я до сих пор готовлю. Увлеченное составление обеда или ужина стало для меня занятием, более всего похожим на хобби.

В тот вечер, когда позвонила мама, я готовила пасту. Я всегда старалась рассчитать время так, чтобы блюдо было готово как раз к появлению Келли, чтобы его можно было подать через пару минут. Конечно, он бы съел мою пасту и холодной, но мне хотелось сделать все правильно. Келли работал в книжной лавке и, после того как закрывал ее, приходил домой не ранее чем без четверти десять,

а чаще ближе к десяти, если ему приходилось дважды пересчитывать кассу. Я не всегда правильно рассчитывала время, но в тот вечер все получилось идеально. На наших тарелках дымились толстенные полоски лингвини, политые приготовленным соусом из томатов с чесноком, от которых исходил пар, и мы уже держали в руках вилки.

Когда зазвонил мой телефон, лежавший на кухонном столе, я поморщилась, взглянув на экран. Я всегда старалась как можно реже брать телефон и даже смотреть на него. В свою очередь, Келли мог проходить полдня, даже не вспоминая, где находится его телефон. Не увлекался он и разными социальными сетями. Он часто просил меня отложить телефон, чтобы пообщаться с ним, особенно во время еды. В его просьбе не было ничего плохого, и я не возражала, если только не возникали неловкие моменты. Я и сама понимала, что слишком много времени провожу с телефоном, но иногда мне хотелось, чтобы он просто не обращал на это внимания, как это делала я. И мне самой нравилось находиться рядом с ним. Единственной причиной, по которой я все же решила ответить на звонок во время нашего совместного ужина, был тот факт, что мама более двадцати лет работала по

одному графику и в будни после девяти почти всегда уже спала, если не раньше. Увидев на экране ее имя, я забеспокоилась и решила ответить.

— Привет, Мать! — произнесла я фальшиво-бодрым тоном.

Предполагалось, что такой тон позволяет как можно дольше сохранять веселый настрой, насколько это допускают обстоятельства. Обычно она отвечала таким же фальшиво-бодрым тоном: «Привет, Дочь!», а потом мы обе хихикали и говорили друг другу что-нибудь бестолковое, обменивались сплетнями или задавали какие-нибудь повседневные вопросы. Но на этот раз мать ответила: «Привет, детка», и я поняла, что она позвонила не просто посплетничать. Я решила уединиться в спальне.

Закрыв за собой дверь, я села на кровать. От ожидания дальнейших слов у меня сжалась грудь. Я начала считать вдохи и выдохи, как мне советовал когда-то первый психотерапевт, но не вспомнила, на сколько именно нужно задерживать дыхание и сколько секунд выдыхать. Я никогда всерьез не задумывалась о дыхании, пока не наступал нужный момент, а тогда уже бывало слишком поздно. Я слышала, как люди описывают панику, — как буд-

то внутри них что-то поднимается. Для меня же паника — это напряжение мышц, глухой стук в затылке, сосание под ложечкой и мурашки по коже. Ничего при этом не поднимается и не опускается. А распространяется по всему телу.

«Кто-то из моих братьев или сестра?» Больше всего я боялась, что мать позвонила мне, потому что с ними что-то произошло. Начиная со старших классов, а может, и чуть раньше, мне постоянно снились кошмары о том, как кто-то из них умирает. Правда, слава богу, никаких ужасных подробностей в тех кошмарах не было. Даже в самых худших снах я не видела тот самый момент смерти. Я всегда приходила уже потом, и мне оставалось только смиряться с последствиями их потери, а проснувшись, убеждаться в том, что мои любимые люди до сих пор со мной. Мать знала про мои кошмары и не раз отсылала меня обратно в кровать после того, как я врывалась в ее комнату, чтобы прислушаться к сердцебиению младшего брата или посмотреть на то, как равномерно поднимается и опускается спина сестры, тяжело дышащей, но живой, просто находящейся в глубоком сне. Кошмары усилились, когда я уехала в колледж и когда окончательно покинула Индиану.

Голос матери вернул меня к нашему незаконченному разговору. Она успокоила меня:

— Все в порядке. Все живы.

Верхняя половина моего тела обмякла от облегчения, и я рухнула на кровать. Я закрыла глаза и, чтобы погрузиться в темноту, прижала руку к закрытым векам, пока перед глазами не показался фон пурпурно-черный, как кульминация синяка.

Если звонок касался денег, то мне хотелось, чтобы она сказала об этом прямо, после чего я бы согласилась или не согласилась ей помочь, и дело с концом. Мать вздохнула, чувствуя мое напряжение. Хотя она и не говорила об этом вслух, но ее все-таки немного раздражало, что я была уже взрослым человеком, который мог проявлять неудовольствие в ее адрес. Как бы мы ни старались обходить молчанием такие моменты, но когда мы испытывали недовольство друг другом, это было понятно без всяких слов. Наконец она заговорила:

— Твой отец выходит из тюрьмы.

Дыхание замерло у меня в горле где-то между ртом и легкими, как будто неуверенное в том, где оно сейчас нужнее. Сердце заколотилось, посылая кровь во зывающие к нему дальние уголки тела, руки задрожали. «Как

же там контролируют дыхание? Вдох на счет «шесть», выдох на счет «шесть»? Или шесть на вдох, семь на выдох?» Неужели я сейчас заплачу? Дрожащей рукой я провела по лицу, чтобы убедиться в том, что еще не заплакала. Нет, никаких слез. Мать продолжала молчать, и пауза вовсе не казалась фальшивой. Было ощущение, как будто она позволяет мне собраться с мыслями и найти нужные слова для передачи моих чувств, независимо от того, какие у меня появятся мысли и как они заставят меня отреагировать.

Пульс ощущался уже во всем теле, особенно в ушах, остро воспринимавших глухие удары. Я с трудом пошевелила губами, чтобы сформулировать единственный вопрос, который более или менее отчетливо всплыл в моем сознании:

— Когда?

— Примерно через две недели. Я только сейчас узнала, что он возвращается домой.

Она снова помолчала, и я опять испытала благодарность за то, что она дала мне время собраться с мыслями.

— Ты в порядке?

Я не была в порядке, но мне не хотелось говорить о том, насколько я сейчас растеряна и волнуюсь. Конечно, было облегчением уз-

нать, что с моими братьями и сестрой ничего не случилось, и к тому же она не сделала и не сказала ничего плохого. Вопрос прозвучал так, будто ее действительно заботило мое самочувствие; пожалуй, так оно и было. Сказать по правде, я всю жизнь ожидала услышать, что мой отец выходит из тюрьмы, но теперь, когда мне наконец сообщили об этом, я испытывала только одно ощущение — желание повесить трубку.

Как обычно, когда мать проявляла сочувствие, у меня возникал соблазн проглотить наживку. Поверить в тот фантастический вариант, что когда-нибудь я начну разрушать стены, разделявшие нас, и то же самое сделает она. И всякий раз я под конец укоряла себя за то, что отошла от обычного развития беседы, не избрала путь наименьшего сопротивления и позволила себе зайти слишком далеко на неизведанную или запретную территорию. Или, что еще хуже, дала втянуть себя в ее фантазии о том, что мы уже близки. Если мы с матерью и делились чем-то личным необдуманно, то речь скорее всего шла о тлеющем угольке мечты, что однажды мы будем щедро пожинать плоды цветущей связи между матерью и дочерью, корни которой мы даже и не думали подпитывать все это время.